

Михаил  
Ландбург

# На последнем сеансе

роман

Михаил Ландбург  
**На последнем сеансе**

«Книга-Сэфер»

2011

## **Ландбург М.**

На последнем сеансе / М. Ландбург — «Книга-Сэфер», 2011

Новый роман Михаила Ландбурга – о Любви. Любви, пронесенной сквозь жизнь. До конца. Атмосфера романа – пряная, плотная, средиземноморская. В романе чувствуется Тель-Авив – город, не утихающий 24 часа в сутки, город, где все чувства и желания обострены.

# Михаил Ландбург

## На последнем сеансе

*«Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я, когда я с тобой»  
Габриель Гарсиа Маркес*

### В пустыне

Я встретил человека – нагого, дикого;  
Сидя на корточках,  
Он держал в руках своё сердце  
И грыз его.  
Я спросил: «Вкусное ли оно, друг?»  
«Оно горькое, горькое! – ответил человек. —  
Но мне нравится его грызть,  
Потому что оно горькое  
И потому что это моё сердце».

*Стивен Крейн*

### От автора

Уважаемый читатель, взяв в руки эту повесть, вы, разумеется, вправе удивляться тому, как, будучи музыкантом, а не писателем, я посмел взяться не за своё дело. Конечно, не могу не признаться, что мой поступок достаточно странен, только не подумайте обо мне, что я такой уж храбрый или сильно наглый. Вовсе нет. Просто на данное деяние меня подтолкнула определённая причина. Даже две. Во-первых, появившаяся на свет моя ля-минорная баллада, во-вторых – как следствие, вытекающее из первой, – пробуждение во мне острого ощущения в необходимости объясниться с моими слушателями не посредством утомительного для меня обмена письмами, а каким-то иным образом.

После того, как балладу передали по радио, одни слушатели в своих письмах благодарили меня за вызванное в них сильное эмоциональное напряжение, которое, что ещё важнее, вынудило их прикрыть ладонями уши, чтобы больше никогда подобного не хотеть слышать, а ещё – ни над чем подобным не задумываться; другие же утверждали, что баллада, безусловно, заслуживает того, чтобы её включили в программы международных фортепианных конкурсов. Некоторых корреспондентов возмущало отсутствие в моей балладе существенной мысли, в то же время, недоумение вызвало присутствие чрезмерного количества *glissando*, диатонических гамм, странных, даже диких звуков, которых нормальное ухо вынести не в состоянии. Особняком и с удовольствием я отмечал письма, в которых выражалась изумительно трогательная по отношению ко мне забота. Выражалась она, например, в таких словах: «Слушая Вашу балладу, несложно догадаться, что её автор человек невесёлый, мрачноватый и, безусловно, болезненный, а поскольку это именно так, то убедительно советуем Вам меньше напрягаться, а больше следить за состоянием своего здоровья».

Поток писем шёл и шёл, а я уже немолод, чтобы успевать отвечать всем подряд; к тому же, всякий раз, берясь за ответное письмо, меня мучительно озадачивали вопросы, связанные с моей невозможностью объяснить, почему концовка баллады слышится именно так, а не этак, и отчего в средней части баллады стоит невероятный сумбур.

«Дорогой друг, благодарю за любезное письмо, в котором Вы спрашиваете о разных штукаx, связанных с моей балладой, а также за Ваши, безусловно, бесценные советы...» Так я начинал каждое ответное письмо, но дальше этих слов из меня ничего, простите, не выжималось. Записав эти первые ответные строки, мои руки беспомощно опускались, и тогда я растерянно поглядывал на полупустой экран моего домашнего компьютера и мысленно вымаливал у моих корреспондентов прощение за своё неумение толком объясниться.

С одной стороны, я понимал: недоумение и даже некоторая растерянность моих слушателей вполне оправданы, ибо, на самом деле, откуда им знать, что именно побудило меня засесть за эту балладу, и отчего в ней звучит такое множество непонятного и смутного; с другой стороны, я не понимал – как мне в обычном письме объяснить, что это за сила такая, которая сумела принудить пожилого человека погасить в себе всплеск заново проснувшегося чувства. В обычном письме я не умел...

И вот, однажды, мне в голову пришла дикая мысль: «Не разумнее ли, если, вместо изнурительной переписки с каждым отдельным слушателем моей баллады, я просто возьму и расскажу историю пожилого человека, который на протяжении всей жизни ревностно пытался сохранять верность своей мужской сути, но вдруг, столкнувшись с возникшим перед ним видением из своего далёкого прошлого, чуть было не дрогнул?..»

Словом, теперь я питаю надежды на то, что, быть может, хоть что-то, хоть как-то пояснит эта повесть. Кто знает...

Кстати, к сказанному выше я считаю своим долгом сделать существенное добавление: развалившись на полу возле моего письменного стола, за работой над ней (этой повестью) ревниво наблюдал свидетель этой истории – Цицерон.

Итак...

\* \* \*

Ночь почти отошла, а рассвет только стал приближаться, когда мой сон оборвался.

По мнению доктора из дома престарелых бессонные ночи предназначены для того, чтобы люди имели возможность неторопливо и обстоятельно погружаться мыслями в свои прежние ошибки, безумия и ещё в различное такое, что было в жизни упущено, утрачено, бесследно смыто.

В комнате, где я родился и где, по всей видимости, свой земной путь окончу, покачивался мутный свет. Настороженно прислушиваясь к тишине, я подумал, что лучше бы эта ночь, с которой я как-то сжился, продолжала бы длиться, чем дожидаться появления нового дня, который с собой ещё неизвестно что принесёт.

Тишина.

Моя комната звучала в ре-миноре.

К тому, что говорит тишина, я отношусь с уважением и доверием, потому что у каждой тишины есть своя тайна и свой секретный код звуков.

Светящиеся фосфором стрелки настенных часов показывали 4:40.

Я закрыл глаза, чтобы лишний раз не быть оглушённым пугающим видом трещин на стенах, высохшей на электрической проводке краски, давно покосившимися ножками стола и книжного шкафа.

Хозяйство моей квартиры. Ха-ха. Меня там нет, да и никогда не было.

Я открыл глаза, вдруг подумав, что прятать глаза ни к чему, ибо у предметов этой комнаты жизнь своя, а у меня – моя.

Когда я был ребёнком, родители требовали, чтобы я берёг пальцы.

Я берёг.

И даже позже, когда я стал юношей, мои родители своих требований не поменяли.

Я родителей слушался и берёг пальцы, хотя не берёг кулаки.

А потом отец и мама от меня ушли.

Иногда мне казалось, что они не сами ушли, а что их кто-то похитил, только разве на их похитителя в полицию заявишь? Что я полицейским скажу? «Помогите вернуть мою маму!» Так, что ли, скажу? «Подайте жалобу», – скажут полицейские, потому что так они всегда говорят. «На кого подать?» – спрошу я. «Это между тобой и Им, – небрежно подскажут полицейские. – Между собой и разбирайтесь».

Куда мои родители ушли, я так никогда и не узнал, зато знаю, где они остались.

Раз в месяц прихожу туда, где они остались,

чтобы –

с надгробных плит смыть пыль,

чтобы –

в тёмной крохотной нише, выбитой в задней стенке их памятников, поместить зажжённую свечу,

чтобы –

убеждённым, упругим голосом проговорить: «Вы живы! Неживыми родители не бывают!»

Говорю так, потому что верю: тихий огонёк свечи проникнет к ним туда и посветит.

Говорю так, потому что знаю: до конца ничто не исчезает.

Говорю так, потому что надеюсь: мои слова туда доходят.

Говорю так, потому что, может быть, услышав меня, они должны чувствовать себя там не так одиноко...

Когда отца не стало, мама писала письма туда. Узнал я об этом после того, как, похоронив маму, в одном из ящиков комода обнаружил перевязанную белой ленточкой большую пачку писем. Ленточку не развязал и всю пачку писем целиком отнёс на кладбище и возложил на надгробную плиту отца.

– Читай их сам, – шепнул я.

Спустя неделю пачки писем не стало. Просочились туда – догадался я.

Время...

Говорят, что бездушнее, чем время, нет ничего, но я и время друг друга терпим так же сносно, как друг друга терпим я и моя комната.

Время...

В детстве, прослышав о том, что каждое новое утро приносит с собою новую жизнь, я не сомневался, что впереди меня ожидает бесконечное множество новых жизней.

Время...

Я всегда стремился стать мужчиной: в школе – таким, как Джек Лондон, в Академии музыки – таким, как Хемингуэй. А потом... А сейчас... Ну да ладно...

Время...

Я уже не...

Я ещё не...

На часах 5:27.

Вглядываясь в очертания оживающих предметов комнаты, я вдруг вспомнил об оставленном с вечера в холодильнике сэндвиче.

Я скинул ноги на пол и по дороге на кухню остановился возле двери в комнату Эстер. Прислушался. За дверью было тихо.

– Господи, помоги сохранить мужество! – прошептал я.

Кухня.

За дверцей холодильника сэндвич.

5:35.

Поедая сэндвич в постели, я стал перебирать в памяти те годы, когда движения души Эстер не были для меня загадкой. До тех пор, пока однажды ночью, четыре года назад...

Шёл второй час ночи. Я устало опустил крышку пианино.

Эстер лежала в кровати с открытыми глазами.

– Пытаешься уснуть? – спросил я, проведя рукой по её волосам.

– Нет.

– Посидеть рядом?

– Нет.

– Принести попить?

– Нет.

– Тогда что?

Взгляд Эстер застыл в одной точке, приоткрывшийся было рот лишился слов.

– Что? – повторил я.

Судорожная рука Эстер скользнула под подушку, и я, едва успев увернуться от брошенной в меня коробки, отбежал к стене. Я стоял у стены и недоумённо смотрел, как моя жена, беззвучно смеясь, бросилась ползать по полу, собирая в коробку рассыпанные цветные пуговики...

Когда доктора определили у Эстер Multiple sclerosis, я бросился просматривать разные медицинские справочники. Оказывается, рассеянный склероз может проявлять себя в шестистах восьмидесяти пяти ипостасях. Надо же! С такой напастью не соскучишься... Мне и не приходилось.

О своей болезни Эстер не догадывалась, а я не видел причин, чтобы приходиться в отчаяние, ибо, несмотря на все шестьсот восемьдесят пять ипостасей Multiple sclerosis, которые пугали своей загадочностью, ни один из медицинских справочников не утверждал, будто Multiple sclerosis приводит непременно к... Упаси, Господи!

Однажды в присутствии гостей Эстер устроила себе пробежки по комнате. Опрокидывались стулья, падали со стола тарелки. С тех пор звать к нам гостей я не решался.

Однако время от времени на лице Эстер появлялась живая краска, и тогда она входила ко мне в комнату, и мы немного беседовали, вспоминая книжную лавку на улице Алленби, городской музей и, конечно же, кинотеатр «Офир», где на последних сеансах крутили старые фильмы.

– Помнишь «Красную палатку»?

– А фильмы Бергмана?

– А «По ком звонит колокол»?ф

– А Витторио де Сика?

– А Жана Габена?

Иногда мы говорили о нашей дочери и внуке, а иногда Эстер слушала, как я делаю музыку, или вдруг принималась напевать мелодии моих песен.

Я спрашивал:

– Долго ли собираешься их петь?

Эстер отвечала:

– Пока дышу.

Иногда, прихватив с собой нейлоновый мешочек с хлебными крошками, мы спускались в небольшой скверик, где на клумбе росли анютины глазки. Царапая лапками дорожки, к нашим ногам подбирались голуби и, вытянув шейки, останавливали взгляд на нашем нейлоновом мешочке.

– Питайтесь, голубки, нямкайте, – говорил я, раскрыв мешочек. В ответ признательные голуби поднимали оглушительно громкое воркование.

Эстер нравилось заглядывать в раскрытые клювики голубей. Она, взмахивая руками, словно крыльями, тоже ворковала. А потом, когда голуби улетали, Эстер становилась задумчивой и принималась ходить от одной скамейки к другой.

Бывало, что на одной из скамеек сидела пожилая пара. Его голова была опущена на грудь, а она, широко расставив опухшие ноги, устало смотрела куда-то вдаль.

В один из знойных дней кто-то из врачей посоветовал повести Эстер на север страны. На Голанах чистый воздух. Возможно, поможет. Бывает, что...

Была светлая, просторная комната с раскрытым окном. За окном –

горы,

море воздуха,

океан неба.

Два дня Эстер плакала, и я позвал её прогуляться вдоль большого кукурузного поля.

– Нет! – сказала Эстер. – Нет!

– Ладно.

– Да! – услышал я потом.

– Ладно, – сказал я потом.

К вечеру стало прохладно, и мы вернулись в комнату.

Вначале Эстер вела себя спокойно, но внезапно её движения стали нетерпеливыми, и, заговорив о своём брате, она потребовала, чтобы я позвонил куда надо...

Ночью слабый свет луны скользил по лицу Эстер.

– Спи, – просил я, увидев раскрытые глаза, – спи. Спи, – повторял я, – спи.

– Нет! – странно дышала Эстер.

Она поднялась с кровати и подошла к окну.

– Ещё ночь, – сказал я в спину жены. – Ляг.

Я боялся, что усну без неё. Эстер оставалась недвижимой. Тогда я тоже поднялся с кровати и подошел к окну.

– Там холодно, – проговорила Эстер.

Она была не в себе. Вся. Целиком. Полностью не в себе.

– Где? Где холодно?

Эстер показала туда, где виднелись синие вершины.

– Там очень холодно.

– Сейчас лето.

– Правда?

– Конечно.

– Холодно. Там очень холодно.

Я укутал шею жены вязаным шарфом.

– Пойди, ляг, – сказал я. – В нашей постели нам будет тепло.

Эстер меня послушалась, но в кровати она сказала, что теперь она замёрзшая птица. Я привлёк жену к себе, обхватил руками. Всю обхватил. Насколько позволяли мне мои руки.

– Достану из шкафа ещё одно одеяло, – сказал я.

– Да, – отозвалась Эстер, – обязательно достань.

Я поднялся.

– Ты вернёшься? – спросила Эстер.

– Конечно, я вернусь. Я вернусь тут же.

За окном виднелись тёмные силуэты дальних гор, и доносились истеричные крики проголодавшихся птиц.

«Завтра будет новый день», – подумал я.

Автобус в Тель-Авив отправлялся в 6.30.

Теперь на часах было 5:32.

«Странно, – подумал я, – отчего умные люди так много размышляют о жизни, в то время как её суть, вроде бы, ясна: люди осуждены на то, чтобы печалиться самим и печалить других. Ничего другого...»

Мысли ветвились, цепляясь друг за друга, и, не выпуская из рук сэндвич, я незаметно задремал.

Снилось, будто бы, выступая по телевизору, президент страны восхищался достойным вкладом моей музыки в дело исправления изъянов мира, а в конце своей речи президент зачитал телеграмму, в которой говорилось, что Создатель принял решение признать композитора Леона Кормана своим компаньоном.

И телеграмма Бога, и речь президента меня сильно взволновали. Мысленно поклонившись Богу и приветственно помахав рукой президенту, я проснулся и включил телевизор. Президента на экране уже не было – показывали ограбление банка в американском штате Алабама. Я немного подождал, зная, что ограбления много времени не занимают. Так было и на этот раз. Потом молоденькая журналистка брала интервью у ветерана войны, который в Тихом океане потерял ногу. Потом, когда ветеран замолчал, журналистка подвела итог сказанному: «Пока есть история и тот, кто её рассказывает, жизнь продолжается».

Я выключил телевизор.

В домах скрипнули ставни открывающихся окон, и пахло жареным луком.

5:59.

«Говорит Иерусалим, – сказали в приёмнике. – Сейчас шесть часов, шестое декабря две тысячи десятого года».

Я подумал о Создателе и, приложив руку к груди, возбуждённо проговорил:

– Спасибо Тебе за новый подаренный мне день!

В приёмнике сообщали о положении в Иране, о наводнении в Польше, о кризисе в Греции. Потом предложили послушать музыкальную новинку. Я послушал. В новинке ощущался избыток тумана. Потом сообщили о решении мэрии Тель-Авива снести здание кинотеатра «Офир».

Защемило в горле.

Пересохло во рту.

Заколело в груди.

Тишина казалась хмельной.

Из книжного шкафа я достал книжку Бротигана, полистал её. Но мысли, продолжая кружиться вокруг сообщения о решении мэрии, не давали сосредоточиться. Захлопнув книгу, я прошёл в ванную и встал под душ.

– Дружище «Офир», двенадцатого декабря тебя умертвят... – бормотал я.

Зазвенел телефон.

– Старина, живи до ста двадцати! – узнал я голос моего внука Дани.

Я прикинулся обиженным:

– Желаеть видеть меня немощным старцем?

– Эй, – отозвался Дани, – как тебе такое пришло в голову?

– Со стариками бывает и не такое, – оправдался я.

Трубку перехватила дочка:

– Папа, ты заметил, что у Дани меняется голос? Мужчиной становится!

– Мужчиной становятся всю жизнь, – уточнил я.

Трубка умолкла.

– О чём молчишь? – спросил я.

– Кажется, пора предупредить Дани о том, что жизнь иногда наносит раны. Для такого разговора я пример неподходящий, а ты... Ты найдёшь нужный тон. Нужный тон – это то, что у тебя получается лучше всего. Два месяца назад Дани ездил к своему отцу в Торонто, но тот посчитал, что сын задаёт слишком крутые и уж очень утомительные вопросы...

Дочка перевела дыхание.

Я молчал. Мне всегда бывало неприятно, когда этого человека из Торонто называют отцом Дани. «Отец» – сильно сказано. «Родитель» – да, это – пожалуйста. И только.

– Дочка, – позвал я и замолк.

Вдруг вспомнилось, как...

Здрав блузку, Эстер разрешила мне послушать её живот. Я слушал, трогал и спрашивал:

– Ты счастлива?

– Буду, когда это счастье из себя вытошню... – морщилась Эстер.

Однажды она это счастье вытошнила, и я обхватил крохотные подушечки ступней моей девочки. Потом были вечера, когда, укладывая мою малышку спать, я читал ей сказки. Господи, давно ли было то время, когда моя девочка, играя в песочнице, вдруг начинала подзывать меня к себе, чтобы доверчиво сообщить: «Хочу сделать кое-что на букву “пи”...» Я уводил мою крошку за кусты. И давно ли был тот день, когда я подарил ей трёхколёсный велосипед? И давно ли был тот день, когда я проводил её в первый класс? И давно ли был тот день, когда она принесла в ладошке свой первый выпавший молочный зуб? И давно ли она перестала про-сигивать вечера с Эстер, шепчась о чём-то таком, о чём мне не обязательно было знать.... Господи, давно ли?

Более сорока лет назад.

– Папа, – услышал я в трубке, – Дани начинают интересоваться девочки.

– И что с того?

– А если он влюбится?

– Надеюсь, так оно и будет.

– Не понимаю...

– Что ты не понимаешь?

– Мне известно, что любовь – это симптом тяжёлого несварения души.

Решив, что все во всём правы и что все во всём ошибаются, я осторожно проговорил:

– Каждый из нас, как он это понимает, так оно для него и есть. Возможно, мой внук поймёт об этом иначе, чем понимаешь ты или я. Помнишь, у Гераклита: «Если бы у слепого спросили, что такое зрение, то он бы ответил, что зрение – это слепота».

– Папа!

– Что?

– Я не об этом собиралась говорить. Хотела поздравить тебя с днём рождения и сказать, что семьдесят – цифра ужасно внушительная. Тебе – семьдесят! Подумать только!..

– Подумаю, – обещал я. – Привези внука, и мы с ним побеседуем.

– Отлично, папа, только приготовься к тому, что Дани закидает тебя вопросами.

– Я хорошенько разомнусь.

– Целую тебя.

– Ладно.

– И маму.

– Хорошо.

Опустив трубку, я послушал тишину, а потом подумал, что цифру «70» можно оценивать двояко: и как сумму, составленную из семи десятков, и как семёрку, прижатую к бессмыслен-

ному нулю. Мои семьдесят – сморщенная кожа, ослабевшая память, путанные мысли... словом, изумительный итог.

Семьдесят лет! Время...

Я взглянул на стенные часы, подумал: «Хоть бы стрелки часов остановились».

6:23.

Распахнув окно, я выглянул наружу.

Одинокое облако, низко кочевавшее над крышами домов, неожиданно подбросило себя высоко в небо – и там, устало потянувшись, вдруг сникло и тихо растаяло. Добродушно шумела улица, со стен домов на тротуары сползали утренние тени, на которые наступали люди, губя их под своими ногами. Невысокий полный мужчина катил по улице бочку. «Возможно, бочку он стащил у Диогена», – подумалось мне. Из подъезда приземистого дома выбежал охваченный животной страстью обезумевший кот и, нагнав заметно растерявшуюся кошечку, принялся настойчивым и невероятно оглушительным воплем требовать у юной особы порцию сиюминутной любви. Под фонарным столбом остановилась старушка и, будто что-то выпрашивая у неба, потянулась к нему худыми узловатыми ручками. Старушку я узнал. По утрам она появлялась возле мусорных баков, чтобы подкормить уже поджидавших её уличных кошек. Я подумал, что, наверно, в день смерти этой женщины добрая половина кошачьего населения Тель-Авива погрузится в тоску и безутешно-отчаянное рыдание от одной лишь догадки, что вдруг превратилась в неутешных сирот. Старушка скрылась за углом, а её место под фонарным столбом занял большой белый лабрадор. Вдруг он задрал кверху голову и острым взглядом прицелился в моё окно. «Тот самый», – подсказала мне память.

Две недели назад на площади возле мэрии моё внимание привлекла элегантно одетая дама, которая сидела за столиком уличного кафе и пила гранатовый сок. Большой белый пёс лежал в тени столика и смотрел на меня таким откровенно-оценивающим взглядом, будто давно ждал нашей встречи.

– Чего тебе? – спросил я у него, подходя поближе. В ответ пёс (тот) прорычал что-то неразборчивое.

– Что это он? – спросил я у дамы.

– Цицерон посчитал своим долгом высказаться, – не поднимая головы, пояснила дама.

– Цицеро-он... – с уважением проговорил я. Не так уж часто удаётся повстречать оратора такого калибра.

Дама поднялась, бросила на столик несколько монет по десять шекелей и, пряча лицо, позвала оратора к себе. Тяжело ступая, дама пересекла площадь и, подойдя к длинной чёрной машине, распахнула заднюю дверцу. Цицерон запрыгнул на сиденье и, прижав голову к оконному стеклу, показал мне язык.

Женщина ухватила за руль...

Никакого сомнения: теперь под уличным фонарём стоял тот самый пёс. Ворочая белками глаз, он всё тем же оценивающим взглядом посматривал на моё окно, и я подумал, как удивительно похожи выражения, проступающие в глазах животных и людей. Впрочем, с кем поведёшься...

Я приветственно помахал Цицерону рукой. В ответ тот пренебрежительно зевнул, а потом, опустив глаза, пошёл дальше.

Телефон.

Ни слова.

Ни звука.

Чьё-то дыхание – лишь это.

Щелчок опавшей трубки.

Тишина.

Послушав тишину, я подумал: «Мир опустел». Через минуту решил: «Мир померк». Через две минуты определил: «Мир превратился в безликую отвлечённость». Через три минуты изумился: «А как же мир без меня?» Через четыре минуты я спросил у себя: «А я без мира?» Через пять минут пришёл к выводу: «В конце концов, весь я – в этом мире, а весь он – во мне, и если лопнет моё сердце, то вместе с ним погибнет и мир». Через шесть минут я вспомнил Бротигана: «Ничего, кроме везения, не нужно».

Внезапное чувство тревожного волнения заставило меня оглянуться на трубку телефона. Она молчала. И всё же (я это невольно различил) в комнате послышалось движение звуков, уже где-то и когда-то мною слышанных.

«Вы?!» – затравленно посмотрел я вокруг.

Будто липучки, ко мне пристали строки из прочитанной накануне книги: «Не будем стараться повторять жизнь, не будем лгать сами перед собою. А что нет старых тревог и волнений, и, слава Богу!»

Я перевёл взгляд на моё пианино.

Инструмент стоял на обычном месте.

Мой старый дружище...

Мой говорящий *instrumentum vocalis*...

Мне исполнилось пять лет, когда сосед по лестничной клетке признался моему отцу в том, что его дуэт с Израилем не сложился и что спеться он надеется с Америкой; мы же, если того хотим, его пианино можем оставить у себя.

Сосед улетел в Америку, а инструмент перебрался к нам.

– В жизни оставляют и не такое, – объяснил отец и повёл меня к учителю Фридбергу на прослушивание.

– То, что надо! – сказал про меня учитель Фридберг, и мы стали готовиться к поступлению в музыкальную школу.

К господину Фридбергу я приходил три раза в неделю, а дома после ежедневной гимнастики для пальцев – гамм и арпеджио – по два-три часа разучивал пьесы. Бывало, просыпаясь по ночам, я садился за пианино и, надёжно придерживая ногой левую педаль, наигрывал какой-нибудь этюд или сонатину. С появлением пианино музыка в наш дом внесла несколько дополнительных градусов взаимного обожания.

Через год мои пальцы легко брали дециму, а спустя два года я решился на свой первый домашний концерт.

Мама ликовала, а отец моё исполнение до-мажорной сонатины Клементи записать на кассету, которая одиннадцать лет хранилась в синей пластмассовой коробке.

Перед уходом гости, приятели отца из оркестра Тель-авивской филармонии, прикрепили над моим пианино плакат: «ТО, ЧТО ОТНИМАЕТ У ЧЕЛОВЕКА ЖИЗНЬ, ВОЗВРАЩАЕТ МУЗЫКА. (Генрих Гейне)».

Я разглядывал плакат.

– Твой первый приз за усилие и жертвенность, – объяснил отец.

О чём говорил плакат, я не понял. И что такое «жертвенность» – тоже не понял.

Одно я в тот вечер всё-таки понял: жизнь – это то, что ощущаешь в данную минуту.

Я вернул взгляд на улицу.

Возле прачечной стояла глухонемая Малка. Она беседовала с небом, и её губы вздрагивали. Я задумался над тем, можно ли передать дрожание губ через музыку, но отвлекла возня за входной дверью. Вспомнил: должен был прийти поэт Зив Росин.

– Входи! – крикнул я.

Дверь не открывалась.  
– Входи! – повторил я.  
Дверь не открывалась.  
Я пошёл открывать.  
На пороге стоял Цицерон.  
Я посторонился.  
Разжав зубы, пёс вывалил на пол листок бумаги.  
Я нагнулся к листку, прочёл: «Винюсь перед собой, винюсь перед вами».  
Цицерон продолжал стоять с вывалившимся из пасти широким языком.  
– Мучает жажда? – спросил я.  
Животное не двигалось с места.  
– Ожидаешь услышать ответ?  
Пёс язык убрал и вновь показал зубы. Я понял, что доверительного разговора между нами не получится.  
– Уходи! – Я захлопнул дверь и вернулся к окну.  
Возле припаркованной у тротуара длинной чёрной машины стояла пожилая дама в блестящей накидке. Я вздрогнул. Так вздрагивают, когда знаешь, что тебе предстоит испытать неминуемую боль.  
– То самое лицо... – пробормотал я. – Ведь то самое...  
К чёрной машине подбежал Цицерон.  
Распахнулись дверцы.  
Машина сорвалась с места.  
Вдруг ощутив себя существом, угодившим в ловушку, я отпрянул от окна и повалился в кресло. В памяти заворошились залежи из прошлого —  
этюд Листа № 3,  
элегия Массне,  
девушка Юдит, волосы которой пахли духами «Chanel № 5».  
Прошлое...  
Я взглянул на часы.  
Секундная стрелка неумолимо подталкивала себя в будущее.  
Время...  
Оно то – что когда ночь.  
И то – что когда день.  
И то – что когда цветут апельсиновые деревья.  
И то – что когда с деревьев опадают листья.  
И то – что когда стал человек.  
И то – что когда человека не станет.  
И то – что целиком умещает в себе жизнь.  
И то – в чём жизнь целиком не умещается.  
И то – что...  
Моё время – это то, что «теперь», и что через мгновение «теперь» уже не будет.  
На коленях вздрогнула записка.  
«Винюсь перед собой, винюсь перед вами» – что это значит?  
Я думал.  
Я гадал.  
Мысли не шли.  
Слова не находились.  
Я закрыл глаза – почудился (послышался) запах духов «Chanel № 5».  
Здесь...

Сейчас...

Зачем?

Я открыл глаза.

6:44.

Подумал: «Стрелки часов удаляют меня от моей жизни. Уже? Разве уже?»

Не хочу.

Пока ещё нет.

«Может, сорвать с часов стрелки, и тогда...»

Тишина.

Я прислушался.

Юный голос Эстер сказал:

– Ты меня не предашь?

– Нет! – отозвался я своим давним голосом.

– Скажи: «Никогда!»

– Никогда! А ты?

– Я – как ты.

– До самой смерти?

– И до неё, и дальше...

Память терзала, мешала дышать.

Я выбрался из кресла.

Пианино.

Аккорд – как вздох.

Пассаж – как разлитая грусть.

Моё прошлое...

Пальцы пытались извлечь из клавиш молитву.

Аккорд – словно всхлип.

Пассаж – как печаль.

По комнате пробежал шелест безумных полутонов.

Молитва не получилась.

Руки с клавиатуры сбросил.

Послушав тишину, я спросил:

– Что скажешь?

– Время в игры не играет, – отозвалась тишина.

Я подумал: «Может, если сорву с часов стрелки, время, которое между прошлым и будущим, остановится навсегда?»

Из коридора послышались шаги, а потом в окошке туалета полыхнуло электричество. Зафыркала вода в бачке. Снова шаги. Теперь уже в коридор. Пришлось пойти выключать оставленный в туалете свет. Потом я постоял перед дверью в комнату Эстер и спросил у себя: «Где я? Где Эстер? Где мы с ней начинаемся и где кончаемся?»

Подойдя к книжному шкафу, я полистал книгу Мартина Бубера «Я и Ты». Слова, слова... Только были они не про моё это.

Вспомнил француза Бегбедёра: «Издатели не читают книг: они их издают; критики не читают книг: они их просматривают; читатели не читают книг: они их покупают. Выходит, никто, кроме писателей книг не читает».

Решил про моё это поговорить с Создателем.

Волнуясь, сбивчиво я высказал Ему всё, что думаю о сотворении человека и обо всём, что в Его мире происходит. У меня сложилось впечатление, что Он слушал меня несколько рассеянно. Мне даже показалось, что Он меня не услышал; но, во всяком случае, не перебивал.

На кухне я выпил стакан гранатового сока и вернулся к мыслям о предстоящем дне гибели «Офира» и о записке, доставленной Цицероном.

«Не разыгрывает ли меня ненормальная старуха?» – Я беспокойно поёжился.

Моя комната...

Мои вопросы...

Стена – поворот, стол – поворот, книжный шкаф – поворот. Вопросы, вопросы, вопросы... как же без них?

Я взглянул на прикрепленный к стене плакат: «ТО, ЧТО ОТНИМАЕТ У ЧЕЛОВЕКА ЖИЗНЬ, ВОЗВРАЩАЕТ МУЗЫКА», а потом, переведя взгляд на пианино, подумал: «Слава Богу, что я не писатель...»

И снова – стена – поворот, стол – поворот, книжный шкаф – поворот.

Отчаянно пытаюсь стряхнуть с себя наваждение, я мотал головой, однако вздорные мысли вцепились в меня и не отпустили. «Как же теперь?» – неожиданный сбой в привычно отлаженном долгими годами мозгу вызывал досаду.

«Не бери в голову!» – любил советовать мой дядя Яков, но смущали слова Декарта: «Беру в голову – следовательно, существую».

Решил довериться к внутреннему голосу. Он подсказал, что я всё ещё хочу существовать, и я принял сторону Декарта.

Не помня себя от растерянности, я припал к распахнутому окну. Тротуар устало освещал фонарь, но я отчётливо различил лицо женщины из чёрного «мерседеса». Тот «мерседес» и то самое лицо. Ведь то самое...

Я не мог допустить мысли, что чуть сгорбленная, грузная женщина с измученным выражением лица – та самая Юдит, которая...

Раскрыв губы, я непонятно у кого спросил:

– Может, теряю рассудок?

Чей-то голос ответил:

– Напряги мозги.

Я напряг. Понял, что угодил в ловушку.

– Ты пришла? – крикнул я в окно.

Пожилая женщина в тёмной накидке с серебряными блёстками низко опустила голову.

– Обо мне вспомнила?

Женщина вскинула к ушам ладони.

– Нет?

– Молчи! – потребовала она.

– Разве можно? – задыхался я от собственного крика. – Все эти годы я...

– Молчи!

– Но ведь я...

– Будет лучше, если на меня смотреть не будешь. Помнишь, стоило Орфею оглянуться назад, как...

– Сегодня правила другие! – огрызнулся я.

– Ты уверен? – Лицо женщины оставалось бесстрастным, даже чуть размытым.

Нет, уверен я не был.

Казалось, что и голос, и слова женщины выпали из давно не существующего времени. «У неё своё время», – догадался я.

Вдруг женщина достала из внутреннего кармана накидки зелёную свечу и зажгла её, а потом вместе со свечой повалилась в чёрный автомобиль.

На тротуар – точно на то место, где минуту назад стояла эта женщина, – упала высохшая горбушка хлеба.

Я встряхнул головой и, протерев тыльной стороной ладони глаза, спросил у себя: «Что происходит со временем?»

Что-то обожгло мои губы, а перед глазами запыльхали синие вспышки света.

Я оставил окно.

Почувствовав, как во мне шевельнулся холодный сгусток смущения, я опечаленно про-  
бормотал:

– Что за чертовщина...

Ответа не было.

Закрыв глаза, я сам у себя полюбопытствовал: «Ну, и зачем всё это теперь?»

Ответа не было.

Где-то я прочёл, что жить – это умение забывать, отрешаться от себя и лишь совсем изредка вспоминать про прошлые кусочки...

В тот вечер, когда мне исполнилось семнадцать, отец пригласил своих приятелей на мой домашний концерт. Я исполнял этюд № 3 Листа и элегию Массне.

В те годы, исполняя, например, «Бабочек» Шумана, меня куда-то заносило, и тогда вместо Шумана под моими пальцами начинало звучать что-то собственно моё. Или, например, когда я разучивал Шопена, то, стараясь передать ощущение, которое, возможно, должны были испытывать пальцы Фредерика, когда они касались руки Авроры Дюдеван, мои пальцы неожиданно теряли над собой контроль и играли уже не Шопена, а нечто моё. Однажды, разбуженный ночными видениями, я бросился к пианино, потому что вдруг представил себя одновременно и юным Моцартом, и сильно постаревшим Григом; в результате слепилась невообразимая смесь, которая, впрочем, вызвала похвальные отзывы у преподавателей из класса композиции.

Отец поставил на стол боценок пива, бутылку вина и полную корзинку с грецкими орешками. Было весело. Кажется, с игрой у меня получилось неплохо. Но больше всего тот вечер мне запомнился появлением на нём миловидной девушки, которую привела с собой арфистка филармонии. Арфистка выпила подряд три бокала пива и уснула прямо на стуле. Я заговорил с девушкой. У неё были длинные ресницы и пахнущие волшебными духами волосы. Арфистка просыпаться не спешила, и тогда я сказал девушке:

– Разрешите проводить?

Она разрешила.

Не умолкая ни на миг, я всю дорогу рассказывал о своём недавнем успехе: втором месте в конкурсе юных исполнителей Баха, а Юдит, так звали девушку, слушала меня, и при этом её серые глаза трогательно сужались, превращаясь в узкие щёлочки.

– Вообще-то, – объяснял я, – добиться успеха пианисту не так уж сложно, если обладаешь отменными ушами, стальными нервами, нормальным кровоснабжением, бесперебойным сердцебиением, надёжным вестибулярным аппаратом, прочными и выносливыми ягодицами, упругой спиной, самодисциплиной и неким количеством мозговых извилин. Всего-то дел!

Войдя в какую-то улочку («Дальше пойду сама»), мы остановились.

На губах у девушки блуждала странная улыбка.

Кивнув на мои пальцы, Юдит сказала:

– Такого Листа мне слышать не приходилось. Ты просто гигант!

– Гигант?

– Или король!

– Король?

– Или Геракл!

– Геракл? А кто ещё?

Юдит рассмеялась и сказала:

– Чемпион!

Я подумал: «Вот они: Успех и Слава!»

Юдит больше не смеялась. Она смотрела, как я молчу. Она смотрела так замечательно, что я был готов онеметь навеки.

– Не молчи, – попросила она.

Я сказал:

– Как называются твои духи?

– Chanel № 5.

– Они, наверно, страшно дорогие?

– Думаю, что да. Знаешь, весь вечер я наблюдала за твоими пальцами. Они у тебя удивительно страстные, азартные, нежные... Ты просто гигант!

Девушка опустила глаза.

Мы снова замолчали.

У меня перехватило дыхание. Даже во время боёв на ринге моё дыхание так туго не перехватывало, а тут вот... В эти минуты я был готов пройти по улицам города на руках, кажется, у меня хватило бы смелости заговорить с Богом, но больше всего мне хотелось вновь услышать, как звучат слова «ты просто гигант».

– По-твоему, я действительно гигант? – прошептал я.

– Или король.

– Король?

– Или Геракл.

– Геракл? А кто я ещё?

– Этого мало? Сегодня был чудесный вечер.

Меня затрясло, и я почувствовал, как вдруг лишился глаз, языка, ушей.

– Кажется, я самый счастливый в мире калека, – залепетал я.

– Что?

Я не стал выдавать своё состояние дополнительными словами. Даже если б хотел это сделать, то и тогда вряд ли бы нашёл нужные слова. Я сказал:

– Заканчиваю разучивать новую вещь. Приходи через неделю.

Юдит загадочно улыбнулась и сказала, что для неё музыка, картины, книги – удовольствия дорогие.

– Позабочусь, чтобы тебя впустили без билета, – пообещал я. – Пожалуйста, приходи! Придёшь?

Она пришла.

Был полдень. Я сыграл соль-минорную балладу Шопена.

Юдит спросила, что означает баллада.

– Раздумье, – объяснил я.

– Над чем?

– У каждого композитора над чем-то своим.

– А у Шопена?

– Всё то, что серьёзно – всегда тайна.

Юдит заговорила о том, что рано лишилась матери, и тогда отец, известный инженер на крупном сталелитейном заводе в Будапеште, перебрался со своей девятилетней дочкой в Израиль. Через полгода он почему-то выбросился из окна их съёмной комнаты.

Юдит замолчала.

Я старался увидеть, как она молчит, ибо всегда считал, что по тому, как человек молчит, можно вполне угадать, о чём он молчит. Это похоже на вдруг перехваченный тобою взгляд. Просто взгляд...

– Незнание меня пугает. Всегда, – продолжила Юдит.

– Я буду защищать тебя, – сказал я. – Всегда.

– Знаешь, – неожиданно сказала Юдит, – я прихватила с собой купальник.  
Мы спустились к морю.

Кружившие над нами чайки горланили непонятно о чём, и я сказал им, чтобы они оставили нас в покое. Мне хотелось продолжить разговор о задумчивой природе баллад, но Юдит на месте не стоялось. Я молча шёл рядом.

– Не молчи! – потребовала Юдит.

И я принялся рисовать картину, в которой был знойный день лета, и мы вдвоём на озере Кинерет. Гуляя вдоль берега, неожиданно встречаем Моцарта и Гайдна. Моцарт сообщил, что он прибыл поработать добровольцем в кибуце, а его друг Гайдн подрабатывает в качестве пианиста в одном из баров Тверии. Гайдну я пообещал заглянуть вечером в бар: «Сыграем что-нибудь в четыре руки, маэстро!»

Казалось, Юдит меня не слушает. Она шла чуть впереди меня и задумчиво смотрела куда-то вдаль. Я разглядывал её плечи, спину, линию бедра, а когда она обернулась ко мне, то увидел нежную кожу живота. Захотел увидеть ещё и сердце. Не увидел...

И вот теперь –  
то самое лицо...

Сейчас...

Здесь...

За моим окном...

На моей улице...

По этой улице мы, дети, бегали за повозками, доверху гружёнными бочками со свежей рыбой и ящиками с овощами и фруктами.

Детство —

у кого-то красивые игрушки,  
у кого-то игрушек нет никаких;  
кому-то хорошо,  
кому-то плохо.

Моя мама говорила: «Кому-то плохо, а кому-то ещё хуже».

Теперь –

внезапно пробежавший по тротуару ветерок унёс на себе засохшую горбушку хлеба.

Я отпрянул от окна.

Включил приёмник.

Шла передача о Микеланджело. Древний мудрец уверял: «Не надо бояться смерти. Если вы любите жизнь, смерть вам тоже понравится. Ведь это дело рук одного мастера».

Выключив приёмник, я сел за пианино, чтобы перевести в звуки то, о чём сказал мудрец.

Пассаж...

Аккорд...

Присутствие мира мешало сосредоточиться.

Захотел упасть в прохладу пола и не дышать.

Не упал – не дышать моё нутро воспротивилось. «Поищи другой *Modus cogitandi*», – сказал я себе.

Поискал.

Нашёл.

Выход прозвучал потрясающе просто: «Покой придёт, если убить в себе разум...»

Вспомнил стихи знакомой поэтессы:

В моей комнате поселились уставшие птицы.

На самом деле нет никаких птиц.

Но вместо реальных предметов и лиц —  
Тополь шумит у криницы.  
И криницы нет никакой.  
Но можно коснуться рукой  
Леса за дальней рекой.

В ванной комнате я побрился, ополоснул лицо и, сменив рубашку, стал припоминать, когда мы с Эстер в последний раз спали вместе. Четыре года? Ну да – четыре года назад...

На коврике возле кровати я заметил хлебную корку. Догадался: «Уронил ночью». Корка была высохшей и бессовестно крошилась. Бросив её в мусорное ведро под раковиной, я подумал: «Старое раздражает... Всё, что старое...» Вспомнил грустного писателя, который сказал: «Человеческую жизнь легко выразить в нескольких междометиях: ох-ох! ой-ой! фу-фу!»

Я заглянул в комнату жены в надежде, что, возможно, удастся перекинуться словечком или даже двумя.

С растрёпанными волосами, в ночной рубашке Эстер сидела на ковре и, задумчиво улыбаясь, перебирала цветные пуговицы.

– Как ты? – спросил я.

Эстер попыталась что-то сказать, но слова у неё не шли. На её щеках проступили рыжие пятна.

Я отвернулся. Мои губы прошептали:

– Не отчаивайся, Корман! В конце концов, главный *modus* твоего *cogitandi* – делать музыку.

Белые клавиши...

Чёрные клавиши...

Забегали пальцы.

Не покидала мысль о той женщине.

Диез...

Бемоль...

«Зачем она сейчас?»

Аккорд...

Пассаж...

Вопросы...

Смутные догадки...

*Staccato*...

*Legato*...

Я подумал о внуке: «Дани – славный парень!»

Кажется, когда пятнадцать лет исполнилось мне, я тоже был славным парнем...

Когда мне исполнилось пятнадцать, дядя Яков ткнул пальцем в низ моего живота и зашептал: «Думаю, твой вулкан готов приступить к началу извержений. Пора ощутить себя мужчиной!»

О каком вулкане, и о каких извержениях речь, я не совсем понимал, но, подчинившись совету дяди Якова, отправился с визитом к госпоже Матильде.

В жидкое, словно пролитая сметана, лицо, я проговорил:

– Дядя Яков просил передать, что под моим животом затаился действующий вулкан, и его извержения вот-вот себя покажут, а ещё дядя Яков считает, что мне пора узнать первую любовь.

– Раздевайся! – сказала госпожа Матильда.

Я посмотрел на малиновые губы.

– Как это?

– Совсем.

– Зачем?

Оставив мой вопрос без ответа, госпожа Матильда опустилась на сильно продавленный диван и развела ножки-столбики в стороны. Столбики были белые и жидкие. «Остолбенелая сметана», – определил я и спросил:

– Вы лекарь?

– В некотором роде! – рассмеялась госпожа Матильда.

Я задумался над тем, что должно означать собою «в некотором роде».

– Ну что же ты! – нетерпеливое тело госпожи Матильды взметнулось вверх и, перевернувшись в воздухе, со страшным шумом упало на живот.

– Присаживайся! – потребовала госпожа Матильда.

– На куда?

– На сюда! – Госпожа Матильды призывно похлопала рукой по выступающему под юбкой широкому булыжнику.

Я забился в угол дивана.

– Не нервничай! – хихикнула госпожа Матильда. – Брючки отложи на стульчик.

Я недоумевал: как можно отложить брючки на стульчик, если они – на мне?

– Ну! – послышалось.

– Что? – не понял я.

– Ты ещё жив? – пошевелив булыжником, спросила госпожа Матильда.

Мне стало страшно, а ещё меня подташнивало.

– Разрешите домой пойти, – сказал я.

Госпожа Матильда села, подмяв булыжник под себя. Малиновый рот проговорил:

– Уйти, не полюбив?

Я глянул на хохочущую сметану, чувствуя, как теряю сознание.

– Бедный Яков!.. – сотрясалась от смеха госпожа Матильда. – Он этого не перенесёт!..

Я спрыгнул с дивана и побежал к двери.

Остаток дня я провёл на берегу моря, слушая крики чаек и наблюдая за тем, как в воду входит солнце.

Потрогав у себя живот и убедившись, что вулкан под ним вроде бы в потухшем состоянии, я пришёл к выводу, что без первой любви вполне можно обойтись, а потом, вспомнив, как с честью выдержал дьявольское искушение, впервые ощутил себя мужчиной...

Вконец измученный, я вновь обрушился на клавиши.

Звуки –

в голове,

в груди,

в кончиках пальцев.

Пассажи-вопросы...

Аккорды-недоумения...

Увиденное за окном лицо, как у Юдит, сбивало с толку. Кажется, я находился в состоянии человека, который после только что перенесённой операции отходил от наркоза. Мои мысли продолжали кружить вокруг видения длинного чёрного автомобиля и белого пса, подбросившего мне загадочную записку: «Винюсь перед собой, винюсь перед вами».

Желая определиться со своей смутной догадкой и давно уже не испытанным чувством трепетного волнения, я принялся звать на помощь слова. Но я не знал, какие это должны быть слова. Легко писателям, а я не...

Меня охватило неудержимое желание к исповедальной беседе с пианино. Белые клавиши...

Чёрные клавиши...

Аккорд...

Пассаж...

Но –

вдруг я услышал в себе две противоборствующие мелодии: одна, лёгкая, раскрепощённая, нетерпеливо рвалась наружу, другая, глубоко затаившаяся, наоборот, стать кому-то предназначенной, упорно тому противилась.

Пассаж...

Аккорд...

Вспомнился писатель Бротиган. Ему повезло – он застрелился.

Прости, писатель Бротиган.

Аккорд...

Пассаж...

И вдруг –

внезапный толчок...

сильный толчок...

– Баллада! – вскрикнул я.

– Баллада, баллада, баллада! – повторил я несколько раз подряд и рассмеялся, представив себя в роли роженицы, нетерпеливо ожидающей появления желанного плода.

Жребий брошен!

Баллада.

Кажется, наметилась тема...

И вариации темы...

И возвратились звучания давних голосов...

Triole...

Агреггю...

Время вынашивания желанного плода было для меня всегда самым волнующим периодом существования; я не испытывал акта более волшебного, чем ощущение своей возможности передать на волю, казалось бы, непередаваемое.

Пассаж...

Аккорд...

И всё-таки пока –

получалось не совсем то и совсем не так...

Пока я чувствовал, как всё накопленное во мне в последние дни покрыто плотным холодным слоем, а добытые из инструмента музыкальные фразы, будто гекзаметры Лукреция, звучали тяжело и чересчур неповоротливо. Словом, я не был в том положении, чтобы собою гордиться.

В телефонную трубку пожаловался знакомому поэту:

– Зив, баллада не получается.

Поэт посоветовал:

– Подожди до завтра.

– Но «Завтра» ко мне никогда не приходит, – заметил я. – Стоит мне проснуться, как оказывается, что я снова в «сегодня».

Зив хмыкнул:

– В таком случае, если не брезгуешь, возьми себя в руки.

– Я пытался, но...

– Тогда постучи по голове.

Я ужаснулся:

– По голове?!

– В поисках необходимого слова я поступаю именно так.

– Как ты можешь?

– Пальцем. Всего лишь одним пальцем.

– Это же, наверно, утомительно? – предположил я.

Зив хихикнул:

– Тогда... В моём запаснике имеется и другая успешно апробированная сублимация.

То есть, если со словом у меня что-то не клеится, я отправляюсь к своей барышне, и уже в процессе тесного содружества двух жаждущих тел в моём мозгу непременно вырисовывается то самое слово, а порой даже целая мысль. И вот тут-то важно не упустить время, то есть, нужно заставить мгновенно отключить свой детородный орган и, не мешкая, сорваться к себе домой с целью внедрения заветного слова в ранее прерванный стих...

С тоской посмотрев на клавиши, я подумал: «То – слова, а тут – звуки...»

Вдруг мне показалось, будто треснуло оконное стекло, и в комнату проникла засохшая хлебная корка.

– Изыди! – прошипел я на неё и даже проделал ряд движений, усвоенных более полувека назад, когда занимался боксом.

«Неужели теперь и я тоже крошусь? А ведь, бывало, не крошился... В двадцать, в тридцать, в сорок, в пятьдесят лет – не крошился...»

Пассаж...

Вскинувшись, музыкальная фраза затрепетала, будто в конвульсиях. «Только бы не задохнулась», – озадачился я, зная, что внутри фразы должно оставаться место для воздуха. Что-то во мне встрепенулось, и я почувствовал на себе взгляд чего-то очень давнего, молодого...

Новый пассаж. Ещё один. Ещё...

«Не сдавайся, Корман! Ты, надеюсь, удар держать не разучился, или хотя бы вспомни, как, выходя на ринг и пропустив удар (как без этого?), ты тут же отвечал двумя ударами встречными. Теперь ринг – твоё пианино».

«Баллада, расскажи о мужчине, который...»

Аккорд – словно смятение.

Пассаж – словно нежданная отрада.

«Леон Корман, распотроши себя, раскройся!»

Пассаж...

Ещё один...

И ещё, и ещё...

«Клавиши, сдавайтесь: сопротивление бесполезно! Вас восемьдесят восемь – только и всего».

Что-то получалось. Что-то – не очень. Я сказал себе: «Дзадзен! Не раскисай, композитор Леон Корман!»

Аккорд...

Ещё один...

И ещё, и ещё...

Подумал: «Второй и третий – не то, зато первый – то».

Снова взяв первый аккорд и придержав все три клавиши, я старательно прислушался к пробежавшему надо мной эху.

– Ну вот, кое-что баллада высказала... – вздохнул я и клавиши освободил.

– Говори, баллада, расскажи... – Осторожный палец придавил одинокую клавишу. Послышался растерянный нервный звук.

«Словно призыв к экзорцизму», – подумал я и палец убрал.

И вдруг... по всей длине клавиатуры выросла цветочная грядка, удивительно похожая на ту, что на картине Эвелин Тейлор.

«Эта баллада – твой последний уют...» – сказали цветы.

Я перевёл взгляд на плакат: «ТО, ЧТО ОТНИМАЕТ У ЧЕЛОВЕКА ЖИЗНЬ, ВОЗВРАЩАЕТ МУЗЫКА».

Клавиши цветы с себя скинули.

Пассаж...

И ещё...

И ещё, и ещё...

Баллада заговорила в ля-миноре.

Меня тронули за плечо.

– Билеты достал? – На моей жене было её любимое серое платье.

– Билеты? – Я взглянул на босые ноги Эстер.

– Разве мы не идём в «Офир»?

– В «Офир»?

– На последний сеанс.

Молча проводив жену в её комнату, я вернулся к пианино.

– К бою! – призвал я себя.

Пассаж...

Аккорд...

Синкопы...

Нет, нет, нет – моя баллада звучала не так!..

– Господи, помоги! – просил я, но звуки продолжали безжалостно терзать мои уши.

То безудержно хохоча, то глухо рыдая, то ускоряя бег, то спотыкаясь о пространство комнаты, они метались, будто обезумевшие, а потом вдруг смолкли, и комната, казалось, наполнилась густыми клубами тумана.

Моё тело обмякло.

Мои пальцы онемели.

Моя голова ощутила усталость.

Я сбросил с клавиатуры руки.

Тишина.

Вспомнилось про тогда –

последние сеансы в «Офире»,

по дороге домой кафе-мороженое,

мы с Эстер безумолчно разговариваем и смеёмся над тем, как после поцелуев наши губы друг к другу прилипают...

– Господи Боже, вспомни меня, и укрепи меня только теперь, о Боже! – шептал я теперь.

Я прислушался к тишине, опасаясь упустить Его голос, но, видимо, упустил...

Вспомнил, что наш праотец Авраам услышал голос Божий в семьдесят пять лет.

Подумал: «Выходит, Его голоса мне пять лет дожидаться...»

Решил: «Дождусь!»

Вернулся к пианино.

Но пока –

предательски ускользала тема.

Пока –

не помогала смена ритма, тональности, интонаций.

Пока –

не удавалось добиться цельности звучания.

Пока –  
в трещины и щели проникало лишнее и наносное.

Пока –  
я молился Богу.

Пока –  
я вновь с Ним ссорился.

Пока –  
озабоченно размышлял: «Поймут ли балладу как надо?»

Пока –  
утешала мысль: «Профессиональные критики непременно поспешат разъяснить, что и как...»

Пока –  
покалывала грешная мысль: «Что, если профессионалы ошибутся?»

Пока —  
думал: «Господи, избавь от профессионалов!»

Пока –  
тревожила щемящая мысль: «Между строками подсмотреть умеют многие, а сколько тех, кто умеет между звуками подслушать?»

Пока –  
продолжая терзать клавиши, я бормотал: «Не то, не то, не то, не то...»

Пока –  
при взгляде на мои записи в нотной тетради не спасала даже древняя максима: «*Epistula non erubescit*».

Хитрили древние. Блистательно хитрили.

Больше не хотелось есть.

Больше не хотелось пить.

Больше не хотелось слушать птиц.

Больше не хотелось видеть день.

Больше не хотелось видеть ночь.

Больше не хотелось читать Бёлля.

Больше не...

На память пришла журнальная заметка, где сообщалось, что никто не предчувствует свою гибель острее, чем свиньи.

– Господи, неужели я превратился в...? – залепетал я и осторожно хрюкнул.

Прислушался. Прозвучало, вроде бы, не по-свински, и этим утешился.

«Остынь и себя не терзай! – сказал я себе. – Истинное творчество – это не столько умение, сколько проявление свойства, и если оно в тебе есть, то просто возьми и дождись его возвращения. Вот и в кумранских свитках сказано: “Царапину души не изображайте на плоти вашей”».

Опустил крышку пианино. Кажется, опустил слишком резко. Снова приподнял. Попросил у неё прощения. Снова опустил. На сей раз бережно.

«В конце концов, нужные звуки приходили всегда...» – подумал я и даже пропел:

– Эх, раз, ещё раз, ещё много-много раз!..

Махнул рукой, решив, что ничего «много-много» у меня быть больше не может, потому что старость и смерть появляются лишь по одному разу, всего лишь по одному...

Часы показывали 8:15.

Прихватив с собой пустой термос, я спустился на улицу.

\* \* \*

Заведение Нисима вклинилось между зданием мебельного магазина и какой-то конторой. По утрам здесь собираются люди, прошлое которых, безусловно, длиннее, чем их будущее. Не самое лучшее кафе в городе, но и не самое худшее. Мне подходит. Во-первых, оно на моей улице, во-вторых, с Нисимом мы давние приятели. У входа справа – стойка и стеклянный шкаф с бутылками сока, минеральной воды, свежими булочками, покрытыми шоколадной гладью. Можно заполучить вино и даже более крепкий товар, который хранится на специальной полке внутри стойки.

В прежние годы в кафе вертелась молодая японка. Она помогала Нисиму и говорила на иврите, который могли понять разве что японцы. С началом в стране экономического кризиса девушку пришлось уволить.

В полупустом кафе пахло свежими булочками, а над стойкой бара светился экран телевизора – депутаты Кнессета обсуждали очередное изменение в законе о социальном обеспечении пожилых граждан.

– Привет, полковник!

Нисим был занят зарисовками –

кота, дремлющего под столом,

кота, возбуждённо поглядывающего на закоренных птичек,

кота, недоумённо исследующего пустую миску,

кота, яростно точащего когти о плинтус.

Отложив рисунки в сторону, Нисим протянул мне руку. Он не возражал против того, чтобы я называл его полковником, хотя в войну Судного дня, командуя танковым батальоном, он был всего лишь майором. Под Суэцем его тяжело ранило.

Я кивнул на заполнивших экран депутатов.

– Замечательные деятели, – отозвался я о них.

– Были бы просто безупречными, – проворчал Нисим, – если бы не их два недостатка: понимали бы, о чём говорят, и знали бы, что делают...

Диктор перешёл к обзору сводок из мировых столиц.

Нисим убавил звук.

– Двенадцатого декабря, – сказал я, – власти Тель-Авива разберут кинотеатр «Офир».

– Суки! – осклабился Нисим.

Я молчаливо развёл руками.

Нисим поинтересовался:

– Покой в этом мире когда-нибудь будет?

Я сообщил анекдот:

– Наркоман спросил у приятеля: «А сегодня что – пятница?» – «Нет, сегодня вторник». – «Выходит, пятница была вчера?» – «Нет, вчера был понедельник». – «Тогда пятница будет завтра, да?» – «Завтра будет среда». – «Получается, что на этой неделе пятницы вообще не будет?»

Нисим выключил телевизор и, укоризненно посмотрев на меня, стал клятвенно уверять, что он не наркоман.

– Допускаю, – уклончиво проговорил я.

Нисим спросил о здоровье моей жены.

Я промолчал.

– Уже не то, да?

– Теперь – не совсем то...

– Тяжело с ней?

Я снова промолчал.

– В последние четыре года тебе достаётся...

Я протянул термос. Нисим залил в него чай.

– Приходится держать оборону, – сказал я. – Кому, как не тебе, знать, что когда отступать некуда, силы бойца удваиваются. И, кроме того, Эстер даёт мне возможность ощущать себя мужчиной.

Нисим хмыкнул:

– Потрясающе счастливая возможность...

– Вот видишь: выходит, что я не истец, а должник. – Я прихватил с собой термос и присел возле окна.

– Сегодня выглядишь изнурённым, – заметил Нисим, ставя на мой столик бутылку минеральной воды и стакан.

– Наверно, рассыпаюсь, будто высохшая горбушка хлеба, – смущённо отозвался я. – Или чахну, как увядающее сердце...

– Сердце не увядает, – возразил Нисим. – Бывает, что оно печалится, глупеет, болеет, а увядать – это нет.

– Может, тускнеет?

Нисим покачал головой, спросил:

– Устал?

– Возраст, – пояснил я. – Переходный.

– Откуси себе язык, отрок. Как всегда пытаешься играть по правилам? Когда карты тебе противятся, остаётся одна возможность выиграть – играть не по правилам.

– Мне нужно выиграть?

Нисим задумчиво посмотрел на окно и вдруг сказал:

– Дов в больнице. Врачи нащупали в его печени паршивую опухоль...

Лицо Нисима приняло горестное выражение. Он замолчал. Я – тоже.

Я вспомнил то время, когда молодой Дов уезжал в Париж учиться на архитектора, а потом он вернулся, и по его проектам построили дома в Холоне, Герцлие, Реховоте. Полгода назад один из его проектов отобрали на международный конкурс. Теперь выиграть приз Дов вряд ли успеет...

– Такая вот нелепость, – сказал Нисим.

Во мне проснулся философ. Я напомнил:

– Мир стоит на нелепостях.

Нисим вобрал голову в плечи.

– Жизнь парш-ш-шивая! – прошипел он. – Ты не знаешь, почему мы за неё цепляемся?

Сделав попытку вызвать ответ, я постучал себя по лбу:

– Возможно, завтра что-то изменится...

Мы снова помолчали.

Я подумал, что скоро бедняге Дову выигрыши не понадобятся. Никогда уже не понадобятся.

Вдруг Нисим сказал:

– По вечерам Дов заходил сюда, и мы играли с ним в шашки или говорили о старости...

Я опешил:

– Что уж такого хорошего можно сказать о старости?

– Так мы ничего хорошего о ней и не говорили. Мы чаще о прошлом вспоминали. Мы обожали говорить о прошлом. Бедняга Дов... Почему в мире так – одним перепадает разное добро, а другим – всякое говно? Знаешь, порой меня пробирает страх.

Я не поверил.

– Эй, полковник, что в этом мире осталось ещё такого, что может напугать тебя?

Нисим выставил передо мной четыре пальца:

– Старость, одиночество, нелепости и тараканы.

– И тараканы?

– Они больше всего. Я просто прихожу в ужас от мысли, что наступит время, когда по столу и стенам моей комнаты примутся шнырять тараканы, а я окажусь настолько старым и слабым, что сил не хватит их прикончить.

Я налил себе стакан минеральной воды. Немного отпил.

– А теперь Дов из жизни уходит, – продолжил Нисим. – Он будет там, а мы пока ещё здесь... Это ужасно!

– Думаешь, то, что мы ещё здесь – ужасно?

Нисим не ответил.

Я стал думать о тараканах, а потом сказал:

– Скоро и перед нами, заложниками старости и смерти, распахнутся тамошние ворота, и прогремит победный салют в знак нашего наступившего умиротворения, когда чувствовать себя смертными больше не придётся...

– Салют? – настороженно спросил Нисим.

– При входе нас примет вспышка ярко-синего света. Возможно, фиолетового.

Нисим приблизил ко мне озабоченное лицо:

– А если от нас с тобой там откажутся и не примут?

Я развёл руками:

– Возможно, что откажутся, но, думаю, примут...

Наверно, мои слова о тамошних воротах Нисим воспринял как философскую примочку, потому что, покашляв, покусав губы, пошевелив ушами и поскрипев зубами, сказал:

– Кажется, наш с тобой разговор напоминает, как говорят англичане, брызги мочи на ветру... Фейерверк!.. Салют!..

Мы улыбнулись друг другу.

«Как два идиота, как два никчёмных анахронизма», – подумал я и убрал термос с чаем под стол.

Нисим вернулся к стойке.

За соседним столиком, искоса заглядывая в свои рюмки, двое мужчин, громко переговариваясь, поедали куриные ножки. В том, у которого было одутловатое лицо и седые плохо подстриженные усы, я узнал бывшего актёра Шимона Вольского. Лет семь назад его уволили из городского театра за чрезмерную страсть к вину, и тогда он, поступив на службу в один из крохотных театров старого Яффо, сменил свой image: стал употреблять исключительно водку. Его собеседником был молодой художник Дима Клоц, которого, как я понял из услышанного разговора, жена выгнала из дома. Теперь он, пытливым заглядывая в глаза актёру, жаловался:

– Мою душу сверлит невыносимая боль.

Актёр покачал головой и, громко фыркнув, изложил свою версию боли.

– Боль – это прямой результат постоянного и гипертрофированного присутствия в нашей жизни клизмы, – бесстрастно разъяснил (пояснил) актёр. – В школе нам её ставили учителя, в армии – прапорщики, в университете – декан. Даже детей делают чем-то таким, что внешне напоминает клизму. И ничего иного, кроме как клизмы, ждать от этого мира не приходится.

Дима Клоц устало вздохнул.

Актёр приподнял рюмку:

– За твою свободу!

Они сделали по большому глотку, и Дима Клоц сказал:

– Жена отлучила меня от своего тела.

– Отпей ещё, – предложил актёр.

Дима Клоц отпил ещё.

– Как она могла обойтись со мной так?

– Крепись! – сказал актёр.

Дима Клоц отпил ещё.

– Свобода... – проговорил он. – Только бы не растерять...

– Не каркай! – попросил актёр.

– А что, если моя жена вдруг...

– Не надейся, чудес не бывает, – перебил актёр. – Из одной мухи можно сделать лишь одного слона, не более...

– Ну да, – согласился Дима Клоц.

Актёр криво усмехнулся и для пущего эффекта ещё дополнительно рассказал анекдот о муже, который повёз свою жену к чудодейственному источнику, но чуда так и не свершилось – они до сих пор вместе...

– Я свою не повезу! – разволновался художник. – Но вот не прощу себе, что перед уходом не сорвал с неё блузку. Упустил шанс...

– Оплошал, – согласился актёр.

– Знаешь, – печально проговорил Дима Клоц, – у меня в доме осталась дочка.

– А у меня сын, – сказал актёр. – Однажды он из дома сбежал.

– Я всегда хотел сына, а получилась дочка, – сказал Дима Клоц.

Актёр стал объяснять, как делаются сыновья.

– Я делал всё точно так же, – сказал Дима Клоц, – но у меня дочка.

– Странно, – удивился актёр.

В кафе заглянул молоденький солдат. У него было озадаченное лицо.

– Что, боец, офицер клизму поставил? – спросил актёр.

Щёчки солдата покрылись алыми пятнышками, и он, попятившись назад, аккуратно прикрыл за собой дверь.

Актёр, заново наполнив рюмки себе и художнику рюмки, спросил:

– И что, собственно, сказала твоя жена?

– «Убирайся вон!»

– А ты что сказал?

– «Прости!»

– А она?

– «К чёрту!»

– А ты?

– А я промолчал. Что тут ещё сказать?

Актёр покачал головой и опрокинул в себя рюмку.

– За твой первый день свободы! – объявил он.

Художник прикрыл веки.

– Решил вздремнуть? – удивился актёр.

– Просто зажмурился. Свобода – это как смотреть на солнце... Что же теперь будет дальше?

Взболтнув графинчик, актёр объяснил:

– Дальше будет второй день свободы.

Художник заплакал.

– Я лучше пойду, – сказал он и ушёл.

Покончив с куриной ножкой, актёр задержал взгляд на моей бутылке с минеральной водой и презрительно усмехнулся.

Я задержал дыхание.

– Непристойный дринк, – гнусаво хихикнув, изрёк актёр. – В подобной жидкости копошатся смертоносные бактерии...

– Это правда? – спросил я у Нисима. – В твоём заведении хранятся микробы?

Нисим издал хриплый, как у попугая, вопль:

– Вр-р-раньё! Вр-р-раньё! Вр-р-раньё!

– Ха-ха-ха! – весело отпарировал актёр. Подняв над столиком рюмку с водкой, он с настойчивой торжественностью заявил, что на самом деле лишь только в aqua vita, в этой воде жизни плещется источник истинной бодрости и силы.

По взгляду, брошенному на актёра Нисимом, было не трудно угадать, как велико его желание открутить актёру нос, но вместо этого хозяин кафе почему-то зажёг спичку и стал смотреть, как она разгорается. Потом зажёг другую.

– Только aqua vita! – твёрдо повторил актёр. – Ultima ratio!

Столь решительный тон подкупил меня, и я подумал, что небольшая порция дополнительных сил мне не помешает.

Нисим достал из холодильника начатую бутылку «Smirnoff».

– Вот тебе, юноша, рюмка водки, – подойдя ко мне, сказал Нисим. – Набирайся сил, отрок.

Актёр одобрительно крякнул и, задумчиво запустив руку в прислонённый к ножке столика потрёпанный портфель, достал из него увёрнутый в газету череп.

– Лично мой, – развернув газету, пояснил актёр.

Присутствие черепа в кафе Нисима насторожило.

– Каким это образом череп твой, – спросил он, – если сам ты живой?

– С чего ты взял, что я живой? – обиделся актёр и нежно провёл по черепу мизинцем.

Кафе погрузилось в звонкую тишину, и я, прислушавшись к ней, определил, что она звучала в ми-бемоль миноре.

Не выпуская череп из рук, актёр надменно оглядел присутствующих и, неторопливо выговаривая каждое слово, принялся декламировать:

Звонок в дверь. Меня уже нет дома.

Я вернусь завтра.

Звонок. Меня уже нет в городе.

Я вернусь послезавтра.

Меня уже нет,

вернусь после конца света.

Теперь они ломают дверь.

Глупо. Ведь я не собираюсь

рождаться вообще.

С улицы вошла скуластая молодая женщина в толстой кофте. С минуту она недвижно стояла возле двери, потом, обведя присутствующих долгим горестным взглядом, достала из сумочки пачку сигарет.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.